

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Писемский

Сергей Петрович Хозаров
и Мари Ступицына

«Public Domain»

1851

Писемский А. Ф.

Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына /
А. Ф. Писемский — «Public Domain», 1851

«В одном из московских переулков, вероятно, еще и теперь стоит большой каменный дом, на воротах коего некогда красовалась вывеска с надписью: «Здесь отдаются квартиры со столом, спросить госпожу Замшеву». Осеннее солнце, это было часу в десятом утра, заглянуло между прочим и в квартиры со столом и в комнате, занимаемой хозяйкою, осветило обычную утреннюю сцену...»

Содержание

I	5
II	16
III	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Алексей Феофилактович Писемский

Сергей Петрович Хозаров

и Мари Ступицына

Брак по страсти

I

*Мелкие натуры только претендуют на любовь
и неудачно драпируются плащом Ромео и Юлии.*

В одном из московских переулков, вероятно, еще и теперь стоит большой каменный дом, на воротах коего некогда красовалась вывеска с надписью: «Здесь отдаются квартиры со столом, спросить госпожу Замшеву». Осеннее солнце, это было часу в десятом утра, заглянуло между прочим и в квартиры со столом и в комнате, занимаемой хозяйкою, осветило обычную утреннюю сцену. Госпожа или, лучше сказать, девица Замшева сидела перед столом и пила чай; перед нею, несколько в почтительном отдалении, стояла баба. Нельзя сказать, чтобы обе эти женщины, хотя и были освещены волшебным светом солнца, представляли живописные фигуры. Почтеннейшая хозяйка, девица с лишком за сорок, одетая в какой-то не совсем опрятный капот-распашонку, имела лицо страшно рябое и очень тоненькую и жидкую косу, которые обыкновенно называются мышинными хвостами. Костлявые руки девицы Замшевой, вообще немного плоской и худой, носили на себе остаток утренней возни с провизией. Про бабу и говорить нечего: это был какой-то грязный комок, комок, впрочем, плотный и здоровый.

– Так ты сделаешь суп из телятины, – начала хозяйка, – сосиски под капустой и зажаришь голубей да еще из вашей говядины выбери получше кусочек и свари щи и завари кашу.

– Всем всяво давать? – спросила баба.

– Опять всем; разве я тебе, глупая, не толковала, – возразила хозяйка, – во второй номер пошли всего и спроси, чего угодно. Сибариту дай только супу и сосисок. Ферापонт Григоричу пошли щей, сосисок и каши. В четвертый номер отошли только супу без телятины и кашу, да смотри, как можно меньше масла.

– Да вчера и то чуть не прибили, – заметила баба.

– Вот прекрасно, рассуждаешь еще! Не твое дело, – возразила хозяйка.

– Да ведь дерутся; этга черноволосый-то в кухню прибежал: лаялся, лаялся, ажно ухват схватил!

– Велика важность: ухват схватил, им же хуже! В пятый номер ничего не посылай, кроме супу: человек больной, ему диета нужна. В шестой номер пошлешь всего и спросишь: чего хотят, да голубей отправь парочку: он охотник.

– Не запомню, Татьяна Ивановна, вся ваша воля, не запомню, – отвечала кухарка.

– Ну, так и есть, перемешай опять.

– Вся ваша воля, памяти на алтын нет.

– Поди, этакий деревенский неуч! Еще не без чего четвертый год в Москве живешь, – возразила с сердцем Татьяна Ивановна. – Дай мне умыться, – сказала она и начала доставать из комода мыло, полотенце и угольный порошок. Кухарка между тем достала из-под кровати таз с огромным умывальником. Распустив совершенно капот-распашонку, Татьяна Ивановна первоначально натерла зубы угольным порошком, выполоскала их потом и вслед за тем принялась обмывать руки, лицо и даже грудь. Почти целое ведро было издержано на омовение ее

сорокалетних прелестей, которые потом, как водится, были старательно обтерты полотенцем, а кухарка отослана к исполнению ее прямых обязанностей. Оставшись одна, Татьяна Ивановна принялась убирать волосы. Приведя голову в порядок, она вынула из комода пузырек с белой жидкостью и начала ею натирать лицо, руки и шею; далее, вынув из того же комода ящичек с красным порошком, слегка покрыла им щеки. Украсив таким образом свое лицо и возложив на себя известное число юбок, Татьяна Ивановна, наконец, надела свое холстинковое, почти новенькое платье, и – странное дело, что значит женский туалет! Перед вами как будто появилась другая женщина; не говоря уже о том, что рябины разгладились, стали гораздо незаметнее, что цвет лица сделался совершенно другой, что самая худоба стана пополнела, но даже коса, этот мышинный хвост сделался гораздо толще, роскошнее и весьма красиво сложился в нечто вроде корзинки.

Одевшись совершенно, Татьяна Ивановна намеревалась приступить к подвигу хождения по номерам для собирания денег с своих постояльцев.

Из последующих сцен мы убедимся, что это был действительно подвиг, подвиг трудный и редко сопровождающийся должным успехом. В эпоху предпринятого мною рассказа у девицы Замшевой постояльцами были: какой-то малоросс, человек еще молодой, который первоначально всякий день куда-то уходил, но вот уже другой месяц сидел все или, точнее сказать, лежал дома, хотя и был совершенно здоров, за что Татьяной Ивановной и прозван был сибаритом; другие постояльцы: музыкант, старый помещик, две неопределенные личности, танцевальный учитель, с полгода болевший какою-то хроническою болезнью, и, наконец, молодой помещик Хозаров. Татьяна Ивановна, как могли мы заметить из предыдущего ее разговора в отношении обеда с кухаркою, неодинаким образом третировала своих постояльцев. Она разделяла их на три класса: на милашек, на так себе и на гадких. К числу милашек принадлежали: двое помещиков и музыкант, который был, впрочем, тайный милашка, и о нем она даже мало говорила; к так себе относились: сибарит и танцевальный учитель; к гадким: две неопределенные личности.

Постояльцы, с своей стороны, именовали Татьяну Ивановну: почтеннейшая. Выйдя из своей комнаты, Татьяна Ивановна подошла к первому номеру, то есть к сибариту.

- Что, можно? – спросила она, приотворив немного двери.
- Можно, – отвечал голос изнутри.
- Да вы в постели?
- То есть я на кровати.
- Ну, так прикройтесь.
- Войдите, прикрылся.

Для объяснения такого рода переговоров я должен здесь заметить, что малоросс, несмотря на громкое титул сибарита, имел не совсем полный комплект утренних и ночных принадлежностей человека. Они ограничивались одною ваточною шинелью, которую он обыкновенно подстилал под себя, не прикрывая себя сверху ничем.

Несмотря на уверения постояльца, что он прикрылся, девица Замшева не верила и входила в комнату, стараясь быть к кровати жильца спиною, и в том же самом положении начинала с ним вести дальнейшие переговоры.

- Я к вам.
- А что?
- Нет ли у вас денег?
- Увы! Татьяна Ивановна, совершенно нет.
- Да как же мне-то делать?
- Не знаю, моя почтеннейшая!
- Вы за три месяца не платили.

– Вы себя обсчитываете, почтеннейшая, с процентами больше, чем за три; что делать! Я бы вам сейчас отдал за четыре, но нема пенензы!

– Ах, какой вы смешной! Да что теперь я-то буду делать?

– Одно только: выслушайте меня, почтеннейшая Татьяна Ивановна! Неужели же вы думаете, чтобы я, имея деньги, отказал себе в трубке табаку; но я теперь не курю, следовательно, теперь у меня нет денег.

– А третьего дня на что в трактир ходили, и пьяный еще Матрену, бесстыдник этакий, обругал?

– Ах, Татьяна Ивановна! Не растравляйте раны! Это был сон, и сон прекрасный, но он миновался и сегодня не повторится.

– Да не со сна же вы опьянели? Где денег-то взяли?

– Денег у меня не было, но ко мне явился благодетельный гений и сказал: «Надень мой сюртук, мои калоши, пойдем в трактир, пей и ешь».

– Все вы лжете: откуда вам денег-то пришлют?

– Ну, это другой вопрос. Денег должны мне прислать, во-первых, отец, во-вторых, тетки, в-третьих, братья, в-четвертых, сестры.

– Да, вот так и ждите.

– Непременно пришлют!

– Ну, смотрите, больше нынешнего месяца не стану ждать, – отвечала Татьяна Ивановна и с тою же предосторожностью начала выходить из номера.

– Татьяна Ивановна, а Татьяна Ивановна! – кричал ей вслед сибарит. – Пришлете мне сегодня обедать?

– Не знаю.

– Пришлите, пожалуйста, да чтобы суп-то был немного повкуснее, а то в простой воде больше жиру; хоть хлеба присылайте побольше.

Татьяна Ивановна на эти слова ничего не ответила и следующий за тем номер прошла мимо; в нем проживал секретный ее милашка, музыкант, она к нему никогда не заходила по утрам. В ближайший номер девица Замшева вошла без всяких предосторожностей, с выражением лица более веселым, совершенно добрым и несколько даже почтительным. В этом номере жил милашка – старый помещик, значительно толстый и сильно обросший усами и бакенбардами. Комната его по своему убранству совершенно не походила на предыдущий номер: во-первых, на кровати лежала трехпудовая перина и до пяти подушек; по стенам стояли: ящики, ящички, два тульские ружья, несколько черешневых чубуков, висели четверня московских шлей с оголовками и калмыцкий тулуп; по окнам стояли чашки, чайник, кофейник, судок для вин, графин с водкой и фунта два икры, московский калач и десяток редиски. Сам помещик, в толсто настеганном шерстяном халате, сидел перед новеньким огромным самоваром из красной меди и кушал чай. Сзади его лакей в домотканом чепане поправлял на оселке бритву.

– Кто там? – закричал милашка-помещик, услышав скрип дверей.

– Хозяйка, – отвечал лакей.

– А!.. – произнес помещик. – Что скажете, голубушка? Не хотите ли чаю?.. Ванька! Подай ей чаю.

– Я пришла навеститься, хорошо ли вам.

– Ничего... идет; только клопов или блох много.

– Блохи, должно быть, беспокоили вас. Клопов здесь совершенно нет. Я вот здесь третий год живу, а никогда ни одного клопа в глаза не видала, – отвечала Татьяна Ивановна. – Не знаю, как бы вам помочь в этом: крапивы разве под простыню положить? Говорят, это помогает.

– Ничего не надо, и так сойдет; а вот что, голубушка, супов-то мне своих не подавай: мерзость страшная.

– Я думала, что вы изволите любить.

– Какого тут черта любить! Вари мне щи, да и голубями не изволь потчевать: я этой мерзости совсем не ем.

– Слышала, батюшка Ферапонт Григорьич, слышала: с сегодняшнего же дня велела готовить стол по вашему вкусу. У нас ведь нельзя-с, стоят больше иностранцы.

– Ну, иностранцев и корми супами; а мне этих помой не надобно.

– Слушаю-с, – отвечала хозяйка. – А вы, я вижу, еще покупочку сделали, – прибавила она, оглядывая комнату, – хомутики изволили купить?

– На целую четверню хватил, матушка. Ванька, покажи хозяйке хомуты. Ну, посмотри, во сколько оценишь?

– Не могу сказать, Ферапонт Григорьич: совершенно неопытна в конских вещах.

– Да ты посмотри, какой ремень-то, совершенный бархат.

– Вижу, батюшка, ремень отличнейший; но, признаться сказать, мне больше всего нравится шляпка, что для супруги изволили купить.

– Ха-ха-ха!.. Ты ведь думала, что я ее на Кузнецком купил?

– Да вы и то бесприменно на Кузнецком купили, по фасону видно.

– Ха-ха-ха!.. На Ильинке за двадцать пять рублей. Даром, матушка, что деревенщина, не надуют.

– А я было к вам пришла, Ферапонт Григорьич...

– А что?

– Да деньжонок...

– Вот тебе на! Я ведь тебе и то за целый месяц дал вперед.

– Нужно, батюшка, видит бог, нужно; ну, хочется, чтобы всем было покойно.

– Нет, мадам, больше не дам.

– Батюшка, Ферапонт Григорьич, не погубите, совершенно погибаю: все перезаложила, с позволения сказать, юбку третьего дня продала на толкучке.

– Да ведь и то я тебе задавал вперед.

– Благодетель мой, вы еще здесь пробудете. Сделайте божескую милость: дайте.

– Экая ведь ты нюня! Ну, на, десять рублей.

– Одолжите, благодетель, двадцать.

– Не дам, пошла вон! – закричал, осердившись, помещик. – Дармоеды этикие московские, – прибавил он вполголоса.

– Батюшка, Ферапонт Григорьич, нужда. Неужели бы я осмелилась вас беспокоить, если бы не крайность моя.

– Ну, ладно, прощай, мне бриться пора.

Татьяна Ивановна пошла.

Для объяснения грубого тона, который имел с Татьяной Ивановной Ферапонт Григорьич – человек вообще порядочный, я должен заметить, что он почтеннейшую хозяйку совершенно не отделял от хозяек на постоянных дворах и единственное находил между ними различие в том, что те русские бабы и ходят в сарафанах, а эта из немок и рядится в платье, но что все они ужасные плутовки и подхалимки.

В ближайшем номере помещались двое гадких ее постояльцев. В комнате их, как и в будуаре сибарита, ничего не было, кроме двух диванов, одного стола и стула. Эти два человека жили, кажется, очень дружно между собою и целые дни играли в преферанс, принимаясь за это дело с самого утра и продолжая оное до поздней ночи. По наружности они были частью схожи: оба были одеты в страшно запачканные халаты, ноги одного покоились в валеных сапогах, а у другого в калошах; лица были у обоих испитые, нечистые, с небритыми бородами и с взъерошенными у одного черными, а у другого белокурыми волосами.

Во время прихода Татьяны Ивановны они были за обычным своим делом, то есть играли в преферанс. Хозяйка вошла к ним в номер с физиономией гордой и строгой.

– А вы уж с раннего утра и за карты! И праздника-то на вас нет, греховодники этикие, – сказала она, подходя к столу.

На эти слова игроки ничего не отвечали.

– Ты в чем играл? – спросил один из них товарища.

– В червях – без одной, – отвечал другой.

– Нечего тут в червях; денег давайте лучше, – проговорила хозяйка.

– Купил, – сказал один игрок.

– Бубны, – перебил его партнер.

– Да что это, глухи, что ли, вы стали? Я пришла за деньгами.

– Пас и не приглашаю, – сказал игрок.

– Бесстыдники этикие! Еще благородные, а хотят чужой хлеб даром есть.

– Ну, ну, потише, почтеннейшая! – сказал один из постояльцев. – Куплю.

– Нечего потише... Что вы, племянники, что ли, мне, вас даром держать?

– Пикендрасы, – проговорил его товарищ.

– Да что я вам на смех, господа, что ли, далась? – сказала, начиная не на шутку сердиться, Татьяна Ивановна. – Сегодня же извольте съезжать, когда не хотите платить денег, а не то, право, в полицию пойду, разорители этикие!

Среди игры, среди забавы,
Среди благополучных дней! –

запел один из игроков.

– Бескозырная, – прибавил он.

– Вист с болваном, – отвечал другой и тоже запел:

Среди богатства, чести, славы!

Татьяна Ивановна совершенно вышла из себя и плюнула.

– Провалиться мне сквозь землю, если я дам вам сегодня обедать; топить не стану; выюшки оберу, разбойники этикие... грабители... туда же в карты играют: милостинками, что ли, друг другу платить станете? – говорила она, выходя из номера.

– Ваня, – сказал один из постояльцев, – гривенник есть у тебя?

– Есть, – отвечал другой.

– Ладно, а то, брат, дура-то не пришлет обедать.

– Ничего... Хлеба купим... Пики!

Между тем Татьяна Ивановна отправилась в другой номер, в котором проживал ее постоялец так себе – танцевальный учитель; он, худой, как мертвец, лежал на диване под изорванным тулупом.

– Что, вам лучше ли? – сказала, войдя, Татьяна Ивановна. Больной кивнул отрицательно головой.

– Да вы бы в больницу ехали.

– Завтра.

– Да что завтра? Вот уже третий месяц говорите все: завтра.

– Денег нет!

– Продали бы что-нибудь.

– Все уже продано.

– То-то и есть, все продано; денег нет, а еще рому покупали в семь рублей, да еще и пьяны напились.

– Для испарины.

– Да для испарины не допьяна пьют. Больной человек, а туда же кутите. Марфутка сказывала, что едва вас оттерла.

– Я всю бутылку выпил. Что делать? С горя!

– Ну, а мне-то как же? За целый месяц ни копейки не платили, а ведь, я думаю, я каждый день нарочно для вас суп варю.

– Дайте поправиться.

– Полноте с вашим поправлением. Ноги-то, я знаю, у вас хороши, да губы-то к вину очень лакомы. Нет ли хоть сколько-нибудь?

– Ни копейки нет.

Татьяна Ивановна махнула рукой и вышла из комнаты.

В соседнем номере проживал третий ее милашка. Мало этого: он был, как сама она рассказывала, ее друг и поверял ей все свои секреты. Занимаемый им номер был самый чистый, хотя и не совсем теплый. В самом теплом номере проживал скрытный ее милашка – музыкант. В то время, как Татьяна Ивановна вошла к другу, он сидел и завивался. Марфутка, толстая и довольно неопрятная девка, исправлявшая, по распоряжению хозяйки, обязанность камердинера милашки, держала перед ним накаленные компасы.

– А вы все франтите? – сказала Татьяна Ивановна, входя в комнату.

– С добрым утром, почтеннейшая! Прошу принять место и побеседовать, – отвечал тот, старательно укладывая свои волосы в щипцы.

– Марфа вам нужна?

– Нет, я сам завьюсь... А что?..

– То-то, я хотела вам велеть кофею принести.

– Мерси, тысячу раз мерси, почтеннейшая. С большим удовольствием выпью, – сказал милашка, протягивая хозяйке руку.

– Для милого дружка и сережка из ушка, – сказала Татьяна Ивановна. – Поди свари, – прибавила она, обращаясь к Марфе.

Та вышла.

Так как этот друг Татьяны Ивановны должен в моем рассказе играть главную роль, то я обязанным себя считаю поподробнее познакомить читателя с его наружностью, отчасти биографией и главными наклонностями. Сергей Петрович Хозаров, поручик в отставке, был лет двадцати семи; лицо его было одно из тех, про которые говорят, что они похожи на парижские журнальные картинки: и нос, например, у него был немного орлиный, и губы тонкие и розовые, и румянец на щеках свежий, и голубые, правильно очерченные и подернутые влагою глаза, а над ними тонкою дугою обведенные брови, и, наконец, усы, не так большие и не очень маленькие. Про прическу и говорить нечего: она была совершенно по моде того времени, то есть на теме приглажена, а на висках и на затылке разбита в букли. В лице его, если хотите, все было хорошо, свежо, даже правильно и гармонировало одно с другим; но в то же время чего-то недоставало, что вы желаете и любите видеть в лице человека. О подобных физиономиях существуют два совершенно противоположные мнения. Одни говорят, что это красавцы, миленькие, даже молодцы, мало этого, Аполлоны Бельведерские; другие же называют их смазливymi рожицами, масками, расписными купидонами и даже фореиторами, смотря по тому, какой у кого эпитет ближе на языке. О герое моем предоставляю вам, читатель мой, избрать какое будет угодно из вышеупомянутых мнений. Кроме своей приятной наружности, Сергей Петрович владел еще многими другими достоинствами. Служа в полку, он слыл за славного малого, удивительного мастера танцевать и вообще за человека хорошо образованного, потому что имел очень приличные манеры, говорил по-французски, владел пером и сочинял стихи, из коих двое даже были напечатаны в каком-то журнале, но главное – он имел необыкновенно много вкуса. При первой возможности молодой поручик так мило отделявал и меблировал свою квартиру, что приезжавшие к нему, разумеется, с мужьями, дамы ахали от восторга и удивления; экипаж

у него был один из первых между всеми господами офицерами; жженку Хозаров умел варить классически и вообще с неподражаемым умением распоряжался приятельскими пирушками и всегда почти, по просьбе помещиков, устраивал у них балы, и балы выходили отличные. Две только слабости имел молодой человек: во-первых, он был очень влюбчив, так что не проходило месяца, чтобы он в кого-нибудь не влюбился, и влюблялся обыкновенно искренне, но только ненадолго; во-вторых, имел сильную склонность и большую в то же время способность – брать займы деньги. Над первую его слабостью товарищи подтрунивали и называли его Сердечкиным, вторым же недостатком даже тяготились, особенно в последнее время, так как эта склонность в нем со дня на день более и более развивалась. По выходе в отставку Хозаров года два жил в губернии и здесь успел заслужить то же реноме; но так как в небольших городах вообще любят делать из мухи слона и, по преимуществу, на недостатки человека смотрят сквозь увеличительное стекло, то и о поручике начали рассуждать таким образом: он человек ловкий, светский и даже, если вам угодно, ученый, но только мотыга, любит жить не по средствам, и что все свое состояньишко пропировал да пробарствовал, а теперь вот и ждет, не выпадет ли на его долю какой-нибудь дуры-невесты с тысячью душами, но таких будто нынче совсем и на свете нет. Конечно, читатель из одного того, что герой мой, наделенный по воле судеб таким прекрасным вкусом, проживал в номерах Татьяны Ивановны, – из одного этого может уже заключить, что обстоятельства Хозарова были не совсем хороши; я же, с своей стороны, скажу, что обстоятельства его были никуда не годны. Имение его уже окончательно было продано, в Москву он приехал с двумя тысячами на ассигнации; но что значат эти деньги для человека со вкусом? Капля в море! В настоящее время Хозаров жил старым кредитом во всевозможных местах, где только ему верили. К Татьяне Ивановне он явился после не совсем приятной истории с m-г Шевалдышевым, у которого он первоначально стоял, и явился, как говорится, с форсом, а именно, в отличном пальто и с эффектной палкою, у которой на ручном конце красовалась позолоченная головка одного из греческих мудрецов. Первоначально он потребовал лучший номер, раскритиковал его как следует, а потом, разговорившись с хозяйкою, нанял и в дальнейшем разговоре так очаровал Татьяну Ивановну, что она не только не попросила денег в задаток, но даже после, в продолжение трех месяцев, держала его без всякой уплаты и все-таки считала милашкой и даже передавала ему заимообразно рублей до ста ассигнациями из своих собственных денег. Любить его, несколько корыстно для самой себя, она не смела и подумать, но чувствовала к нему дружбу и гордилась этим. Милашка же, с своей стороны, высказывал сорокалетней девице самые задушевные свои тайны. Что касается до помещения Сергея Петровича, то и оно обнаруживало главные его склонности, то есть представляло видимую замашку на франтовство, комфорт и опрятность; даже постель молодого человека, несмотря на утреннее время, представляла величайший порядок, который царствовал и во всем остальном убранстве комнаты: несколько гравюр, представляющих охоту, Тальму¹ в костюме Гамлета, арабскую лошадь, четырех дам, очень недурных собой, из коих под одной было написано: «весна», под другой: «лето», под третьей: «осень», под четвертой: «зима». Все они развешаны были совершенно симметрично. В углу стояло что-то вроде горки, в которую было вставлено несколько чубуков с трубками, в числе коих было до пяти черешневых с янтарными мундштуками. На столе, перед которым сидел Сергей Петрович, в старых, но все-таки вольтеровских креслах, были размещены тоже в величайшем порядке различные принадлежности мужского туалета: в середине стояло складное зеркало, с одной стороны коего помещалась щетка, с другой – гребенка; потом опять с одной стороны – помада в фарфоровой банке, с другой – фиксатуар в своей серебряной шкурке; около помады была склянка с о-де-колоном; около фиксатуара флакончик с духами, далее на столе лежал небольшой портфель, перед которым красовались две неразлучные подружки: чернильница с песочницей. По

¹ Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) – знаменитый французский актер.

одну сторону портфеля лежал пресс-папье, изображающий легавую собаку, который придавливал какие-то бумаги; с другой стороны находился тоже пресс-папье с изображением кабаньей головы; под ним ничего уже не было, и он, видимо, поставлен был для симметрии. Много еще было других предметов, обличающих стремление к модному комфорту; так, например, по стене стоял турецкий диван, под ногами хозяина лежала медвежья шкура, и тому подобное.

– Вы сегодня едете куда-нибудь? – спросила Татьяна Ивановна.

– Не знаю еще, – отвечал Хозаров.

– А вчера были там?

– Был.

– Ну, что?

– Ничего хорошего; я недоволен вчерашним вечером.

– Что такое?

– Она не любит меня!

– Ой, не говорите этого, Сергей Петрович, не говорите, ни за что не поверю: вы просто скрываете. Вы, мужчины, прескрытный народ в этих вещах.

– Нет, вы выслушайте наперед и растолкуйте мне, как это понять? Приезжаю я, как вы знаете, в семь часов. В зале никого. Я прошел к Катерине Архиповне. Она сидит одна; разумеется, сажусь и начинаю рассказывать разные разности, как можно громче смеюсь, хохочу, – не тут-то было! Прошел целый час, наконец, являются две старшие дылды; а ее все-таки нет! Я просто думал, что больна; но сами согласитесь, не ехать же домой. Уселся с барышнями в карты; смеюсь, шучу, а внутри, знаете, так и кипит: ничего не помогает; проходит еще час, два – не является. Наконец, уж я не вытерпел. «Здорова ли, я говорю, Марья Антоновна?» И как бы вы думали, что мне ответили? «Кошку свою, говорят, сегодня целый вечер моет с мылом». Я чуть не лопнул от досады. Во-первых, это глупо, а во-вторых, неприлично. Хорошо, думаю, мадемуазель, я вам отплачу, и тотчас же начал говорить любезности Анете. Та, как водится, принялась закатывать свои оловянные глаза, и пошла писать... Вдруг является, немного, знаете, бледная, грустная, поклонилась и села около матери, почти напротив меня. Я ни слова и продолжаю любезничать с Анетой. Та совсем растаяла, только что не обнимает...

– Послушайте, Сергей Петрович, – перебила Татьяна Ивановна, – вы ужасный человек. За что вы мучите этого ангела?

– Помилуйте, Татьяна Ивановна, что вы говорите? Она меня мучит.

– Нет, вы этого не говорите, – возразила хозяйка, – она, бедненькая, вероятно, это время мечтала о вас, а вы, злой человек, сейчас уж и стали заниматься с другой.

– Но послушайте, Татьяна Ивановна: любя человека, разве вы в состоянии были бы в каких-нибудь трех шагах просидеть два часа и не выйти, и чем же в это время заниматься: дурацким мытьем какой-нибудь мерзкой кошки!

– Конечно, я бы этого не в состоянии была сделать, потому что никогда кокетства не имела.

– Вот видите, вы сами проговорились; стало быть, она только кокетничает со мной.

– Этого не смейте при мне и говорить, Сергей Петрович! Она вас любит.

– Да из чего вы видите?

– Из всего; во-первых, вы говорите – она пришла немного бледная и потом села напротив, чтобы глядеть на вас.

– Ну, нет... Таким образом перетолковывать можно все, – произнес Сергей Петрович, которому, впрочем, последние слова хозяйки, кажется, очень были приятны.

– Послушайте, – начала Татьяна Ивановна, одушевившись. – Я любила одного человека... полюбила его с самого первого раза, как увидела. Он жил в одном со мною доме, и что же вы думаете? Я целую неделю не имела духу войти к нему в комнату.

– Это о соседе вы говорите? – спросил с улыбкою Хозаров.

- Ой, нет! О другом, – возразила, вспыхнув, Татьяна Ивановна.
- Не может быть! Верно, о нем.
- Нет, право, о другом; про этого только так говорят... Конечно, он ко мне равнодушен, да нет, не по моему вкусу!
- Все это прекрасно, Татьяна Ивановна, да мои-то дела плохи.
- Вовсе не плохи. Головой моей отвечаю, что она вас любит и очень любит. Это ведь очень заметно: вот иногда придешь к ним; ну, разумеется, Катерина Архиповна сейчас спросит о вас, а она, миленькая этакая, как цветочек какой, тотчас и вспыхнет.
- Вы когда к ним пойдете, Татьяна Ивановна? – спросил Хозаров.
- Право, не знаю, Катерина Архиповна ужасно просит бывать у них почаще; сегодня думаю вечером сходить, показать им одной моей знакомой продажную брошку; недавно еще подарена ей, да не нравится фасон.
- А что, если б я попросил вас сделать для меня большое-пребольшое одолжение?
- Что такое?
- Вот дело в чем: надобно же узнать решительно, любит ли она меня или нет?
- Объяснитесь.
- Объясниться я не могу, потому что мне решительно не удастся говорить с ней. Эти две старшие дуры, Пашет и Анет, просто атакуют меня, и я вот что выдумал: недели две тому назад она спросила меня, чем я занимаюсь дома. Я говорю, что дневник писал. Она, знаете, немного сконфузившись, вдруг начала меня просить, чтобы я его показал ей; я обещался; дневника, впрочем, у меня никакого не бывало никогда; однако, придя домой, засел и накатал за целые полгода; теперь только надобно передать. Возьмитесь-ка, передайте.
- А что вы в дневнике написали?
- Ничего особенного. Пишу, как я увидел ее, полюбил, записаны все ее слова.
- Ведь вы этак ее, Сергей Петрович, совсем погубите! – возразила Татьяна Ивановна. – Это ужасно для девушки получить такое письмо, особенно от человека, которого любит!
- Это не письмо, а дневник; тут она нигде прямо не называется.
- Догадается, Сергей Петрович, сейчас догадается.
- Конечно, догадается. Для того и написано, чтоб догадалась. Сделайте одолжение, Татьяна Ивановна, передайте.
- Ох, Сергей Петрович, в грех вы меня вводите.
- Не в грех, почтеннейшая, а в доброе дело, – возразил Хозаров.
- Конечно, про вас я не могу ничего сказать, – отвечала хозяйка, – вы имеете благородные намерения, а другие мужчины, ах! Как они бедных женщин жестоко обманывают.
- Сергей Петрович между тем бережно поднял пресс-папье, изображающий легавую собаку, и, вынув из-под него чисто переписанную тетрадку, начал ее перелистывать.
- Почитайте, пожалуйста, Сергей Петрович, что вы тут написали.
- Нельзя, Татьяна Ивановна, тайна.
- Вот прекрасно! Да разве у вас может быть от меня тайна? Не пойду же, когда вы так поступаете.
- Ну, слушайте. Вот, например, начало: «Первого января я увидел в собрании одну девушку, в белом платье, с голубым поясом и с незабудками на голове».
- Это она самая; я ее видела в этом платье; еще, кажется, подол воланами отделан.
- Может быть; но слушайте: «Она меня так поразила, что я сбился с такта, танцуя с нею вальс, и, совершенно растерявшись, позвал ее на кадрили. Ах, как она прекрасно танцует, с какою легкостью, с какою грацией... Я заговорил с нею по-французски; она знает этот язык в совершенстве. Я целую ночь не спал и все мечтал о ней. Дня через три я ее видел у С... и опять танцевал с нею. Она сказала, что со мною очень ловко вальсировать. Что значат эти слова? Что хотела она этим сказать?...» Ну, довольно.

– Ах, какой вы плут! Вы просто обольститель! Почитайте, батюшка, почитайте еще.
– Да что вам любопытного?
– Почитайте, пожалуйста! Я очень люблю, как про любовь этак пишут.
– Ну, вот вам еще одно место: «Сегодня ночью я видел сон; я видел, будто она явилась ко мне и подала мне свою лилейную ручку; я схватил эту ручку, покрыл миллионами пламенных поцелуев и вдруг проснулся. О! Если бы, – сказал я сам с собою, – я вместе с Грибоедовым мог произнести: сон в руку! Я проснулся с растерзанным сердцем и написал стихи. Вот они:

Прощай, мой ангел светлоокой!
Мне не любить, не обнимать
Твой гибкий стан во тьме глубокой,
С тобой мне счастья не видать.
Я знаю, ты любить умеешь,
Но не полюбишь ты меня,
Мечту иную ты лелеешь;
Но буду помнить я тебя.
Ты мне явилась, как виденье,
Как светозарный херувим,
Но то прошло, как сновиденье,
И снова я теперь один.

– Прекрасно! Бесподобно! – крикнула Татьяна Ивановна. – Батюшка Сергей Петрович, спишите мне эти стишки!

– После, Татьяна Ивановна, после; я наизусть их знаю.

– Ну, что после, напишите теперь.

– Право, после, теперь лучше потолкуем о деле. Я запечатаю вам в пакет; вы поедете, хоть часу в седьмом, сегодня; ну, сначала обыкновенно посидите с Катериной Архиповной, а тут и ступайте наверх – к барышням. Она, может быть, сидит там одна, старшие все больше внизу.

– Это можно; я у них по всем комнатам вхожу; они меня, признаться, с первого раза, как вы меня отрекомендовали, очень хорошо приняли. Будто сначала выйду в девичью, а там и пройду наверх.

– И прекрасно! Только что вы скажете? Как отдадите?

– Да что сказать? Скажу: от Сергея Петровича дневник, который вы просили. Не беспокойтесь, поймет...

– Конечно, поймет. Чудесно, почтеннейшая! Дайте вашу ручку, – сказал Сергей Петрович и крепко сжал руку друга-хозяйки.

– Только какой вы для женщин опасный человек, – сказала Татьяна Ивановна после нескольких минут размышления, – из молодых, да ранний.

– А что? – спросил с довольною улыбкою постоялец.

– Да так. Вы можете просто женщину очаровать, погубить.

– Мясник, Татьяна Ивановна, пришел, – сказала Марфа, входя в комнату.

– Ах, батюшки! Как я с вами заболталась! Прощайте, я было за деньгами к вам приходила.

– Нет, почтеннейшая, ей-богу, нет.

– Ну нет, так и нет; пакет ваш теперь отдадите?

– Через час пришло.

– Ну, хорошо, прощайте.

Выйдя от Хозарова, Татьяна Ивановна остановилась перед нумером скрытного милашки и несколько времени пробыла в раздумье; потом, как бы не выдержав, приотворила немного дверь.

- Придете обедать? – сказала она каким-то чересчур нежным голосом.
- Нет, – отвечал голос изнутри.
- Почему же?
- Ноты пишу.
- Ну вот уж с этими нотами! А чай придете пить?
- Нет, пришлиите водки.

Татьяна Ивановна затворила дверь, вздохнула и прошла к себе, велев, впрочем, попавшейся навстречу Марфе отнести во второй номер водки.

Сергей Петрович, оставшись один, принялся писать к приятелю письмо, которое отчасти познакомит нас с обстоятельствами настоящего повествования и отчасти послужит доказательством того, что герой мой владел пером, и пером прекрасным. Письмо его было таково:

«Любезный друг, товарищ дня и ночи!

Я уведомлял тебя, что еду в Москву определяться в статскую службу; но теперь я тебе скажу философскую истину: человек предполагает, а бог располагает; капризная фортуна моя повернула колесо иначе; вместо службы, кажется, выходит, что я женюсь, и женюсь, конечно, как благородный человек, по страсти. Представь себе, mon cher², невинное существо в девятнадцать лет, розовое, свежее, – одним словом, чудная майская роза; сношения наши весьма интересны: со мною, можно сказать, случился роман на большой дороге. Прошедшего года, в этой дурацкой провинции, в которой я имел глупость прожить около двух лет, я раз на бале встретил молоденькую девушку. Просто чудо, mon cher, как она меня поразила! В ней было что-то непохожее на других, что-то восточное, какая-то грезовская головка. Я с нею протанцевал несколько кадрили и тут убедился, что она необыкновенно милое, резвое дитя, которое может нашего брата, ветерана, одушевить, завлечь, одним словом, унести на седьмое небо; однако тем и кончилось. Поехав в Москву из деревни, на станции съезжаю я с одним баринном; слово за слово, вижу, что человек необыкновенно добродушный и даже простой; с первого же слова начал мне рассказывать, что семейство свое он проводил в Москву, что у него жена, три дочери, из коих младшая красавица, которой двоюродная бабушка отдала в приданое подмосковную в триста душ, и знаешь что, mon cher, как узнал я после по разговорам, эта младшая красавица – именно моя грезовская головка! Я не мог удержаться и тогда же подумал: «О, судьба, судьба! Видно, от тебя нигде не уйдешь». Он снабдил меня письмом к его семейству, с которым я теперь уже и сошелся по-дружески, знакомясь вместе с тем и со всем их кружком. Дела идут недурно; одно только меня немного смущает, что у них каждый день присутствует какой-то жирный барин, Рожнов; потому что кто его знает, с какими он тут бывает намерениями, а лицо весьма подозрительное и неприятное.

Так-то, mon cher, я женюсь, и непременно женюсь! Да, мой друг, я теперь убедился, что наша прошлая жизнь – все пустяки! На что мы, холостяки, похожи? Грязь, грязь – и больше ничего! Нет ни одного отрадного явления, нет человека, с кем бы разделить чувства. Такое ли счастье человека, который сидит в прекрасном кабинете, сладко полудремлет, близ него милое, прелестное существо – вот это жизнь! Кроме сих и оных моих делишек, я здесь в порядочном кругу; особенно один дом Мамиловых. Представь себе, аристократический тон во всем: муж – страшный богач, более полугода живет в южных губерниях и занимается торговыми операциями, жена – красавица и, говорят, удивительная фантазерка и философка. Теперь я с ними еще не так короток, но, однако, очень дорожу их знакомством и постараюсь сблизиться.

Прими уверение в совершенном моем почтении и преданности, с коими и остаюсь покорный к услугам

Хозаров».

² дорогой мой (франц.).

II

В зале, о которой упоминал Хозаров, за большим круглым столом, где помещался самовар с его принадлежностями, сидели Катерина Архиповна и ее семейство, то есть: Пашет, Анет и Машет. Впрочем, в среде этого семейства помещалось новое лицо, какой-то необыкновенно высокий мужчина, который, конечно, кинулся бы вам в глаза по своему огромному носу, клыкообразным зубам и большим серым, навывкате и вместе с тем ничего не выражающим глазам. По загорелому его лицу нетрудно было догадаться, что он недавно с дороги. Это подтверждалось и тем, что в комнате было расставлено несколько дорожных вещей. Катерина Архиповна, дама лет около пятидесяти, черноволосая, немного сердитая на вид и с довольно крупными чертами лица, была, кажется, в весьма дурном расположении духа. Две старшие дочери, Пашет и Анет, представляли резкое сходство с высоким мужчиной как по высокому росту, так и по клыкообразным зубам, с тою только разницею, что глаза у Пашет были, как и у маменьки, – сухие и черные; глаза же Анет, серые и навывкате, были самый точный образец глаз папеньки (читатель, вероятно, уж догадался, что высокий господин был супруг Катерины Архиповны); но третья дочь, Машет, была совершенно другой наружности. Это была небольшого роста брюнетка с выразительными чертами лица, с роскошными волосами, убранными для вящего очарования а l'enfant³, с черными и живыми глазами и с веселой улыбкой.

При внимательном, Впрочем, наблюдении в девушке можно было заметить сходство с матерью, замаскированное, конечно, молодостью, здоровьем, невинностью и каким-то еще чуждым началом, не замечаемым ни в одном из членов семейства. Катерина Архиповна, как я прежде объяснил, была не в духе: как-то порывисто разлила она чай по чашкам и подала их дочерям, а предназначенный для супруга стакан даже пихнула к нему. Антон Федотыч Ступицын, имя родоначальника семейства, принял довольно равнодушно так невежливо препровожденный к нему стакан и принялся пить чай с большим аппетитом. Отпив половину стакана, он потихоньку встал, взял трубку и закурил.

– Фу, батюшки, опять с своим куреньем, – сказала Катерина Архиповна, отмахивая от себя табачный дым.

– Ничего, душа моя, я так... немножко, – отвечал Антон Федотыч, тоже размахивая дым.

– Это у него ничего, как из трубы... Жили бы там себе в деревне и курили, сколько хотелось: так нет, надобно в Москву было приехать.

– Нельзя было, душа моя. Генерал просто меня прогнал; встретил в лавках: «Что вы, говорит, сидите здесь? Я, говорит, давно для вас место приготовил». Я говорю: «Ваше превосходительство, у меня хозяйство». – «Плюньте, говорит, на ваше хозяйство; почтенная супруга ваша с часу на час вас ждет», – а на другой день даже письмо писал ко мне; жалко только, что дорогою затерял.

В продолжение всей этой речи Катерина Архиповна едва сдержала себя.

– Я хочу вас, Антон Федотыч, спросить только одно: перестанете вы когда-нибудь лгать или нет?

– Что лгать-то, – отвечал немного смешавшийся Ступицын, – спроси Пиронова; при нем вся эта история была.

– Нечего мне Пиронова спрашивать; двадцать пятый год я, милый друг мой, вас знаю; перед кем-нибудь уж другим выдумывайте и лгите. Ну, зачем вы сюда приехали? Для какой надобности?

– Да ведь я тебе говорил, душа моя, что генерал...

³ по-детски (франц.).

– Не говорите вы мне, бога ради, про генерала и не заикайтесь про него, не сердите хоть по крайней мере этим. Вы все налгали, совершенно-таки все налгали. Я сама его, милостивый государь, просила; он мне прямо сказал, что невозможно, потому что места у них дают тем, кто был по крайней мере год на испытании. Рассудили ли вы, ехав сюда, что вы делаете? Деревню оставили без всякого присмотра, а здесь – где мы вас поместим? Всего четыре комнаты: здесь я, а наверху дети.

– Да много ли мне места надобно? Я вот хоть здесь...

– Скажите на милость: он здесь – в зале расположится; одна чистая комната, он и в той дортуар себе хочет сделать. Вы о семействе никогда не думали и не думаете, а только о себе; только бы удовлетворять своим глупым наклонностям: наестся, выпастся, накурить полную комнату табаком и больше ничего; ехать бы потом в гости, налгать бы там что-нибудь – вот в Москву, например, съездить. Сделали ли вы хоть какую-нибудь пользу для детей, выхлопотали, приобрели ли что-нибудь?

– Да я думал... – начал было Антон Федотыч.

– Ничего вы не думали, – перебила Катерина Архиповна, – солгали где-нибудь, что в Москву едете, да после и стыдно было отказаться.

Последние слова очень сконфузили Ступицына.

– Мне нечего стыдиться, – проговорил он.

– Знаю, что вы давно стыд-то потеряли. Двадцать пятый год с вами маюсь. Все сама, везде сама. На какие-нибудь сто душ вырастила и воспитала всех детей; старших, как помоложе была, сама даже учила, а вы, отец семейства, что сделали? За рабочими не хотите хорошенько присмотреть, только конфузите везде. Того и жди, что где-нибудь в порядочном обществе нальжете и заставите покраснеть до ушей.

– Бранитесь, бранитесь, как хотите; эту песню я уже двадцать пять лет слушаю, – проговорил, махнув рукой, Антон Федотыч.

– Да вы хоть кого из терпения выведете, – возразила Катерина Архиповна. – Не сиделось вам в деревне, в Москву прискакали; на почтовых, я думаю, ехали. Вот я просмотрю оброчный счет. Привезли ли счет-то по крайней мере?

– Привез; сто рублей всего собрано.

– Знаю я вас, милостивый государь, сто рублей. Я, впрочем, усчитаю. Хоть бы вы то рассудили: что я, для удовольствия, что ли, живу здесь?

– Кто вас знает, зачем вы здесь живете.

– Как же – для любовников! Посмотрите-ка, сколько их в пятьдесят-то лет завела. Скажите на милость: он не знает, зачем я здесь живу! Знаете ли по крайней мере, что у нас в Москве тяжба? Это-то вы хоть знаете ли?

– Конечно, знаю.

– Так что же-с, вам, что ли, мне поручить хлопотать? Фамилию свою хорошенько не умеете подписать.

– Вы уж очень учены; где нам! – возразил Антон Федотыч.

– Конечно, лучше вашего все понимаю; как угорелая езжу по добрым знакомым да кланяюсь и прошу, чтоб растолковали да научили. Вот с завтрашнего дня все Вам передам: хлопочите, ходатайствуйте. Слава богу, свой стряпчий приехал, можно успокоиться: обделает дело.

– Я военный человек, статских дел не знаю.

– Скажите, какой воин, – ветеран заслуженный; много ли изволили ран получить? В каких сражениях были?

– Ругайтесь, как хотите ругайтесь, я уж не стану и говорить, – произнес со вздохом Антон Федотыч и опять махнул рукой.

– Ну, думала, – продолжала Катерина Архиповна: – приехала в Москву, наняла почище квартиру, думала, дело делом, а может быть, бог приведет и дочерей устроить. Вот тебе теперь

и чистота. Одними окурками насорит все комнаты. Вот в зале здесь с своим прекрасным гардеробом расположится, – принимай посторонних людей. Подумали ли вы хоть о гардеробе-то своем? Ведь здесь столица, а не деревня; в засаленном фраке – на вас все пальцем будут показывать.

– Что мне гардероб-то, ведь я не молоденький, – возразил Антон Федотыч.

– Да вы отец семейства; по вашей наружности будут судить и о прочих.

– Я сошью себе фрак; всего сто рублей.

– Конечно, как вам не сшить? Сто рублей для вас пустяки. Вместо того чтобы жить в деревне да сколачивать копейку, чтобы как-нибудь, да поблагороднее, поддерживать семейство, – не тут-то было: в Москву прискакал, франтом хочет быть; место он приехал получать. Вот, не угодно ли? Есть свободное: в нашей будке будочник помер.

– Ну, бог с тобой, расписывай, – проговорил уже потерявший совсем терпение Антон Федотыч, махнул рукой, вздохнул и вышел из комнаты на крыльцо.

Здесь я должен заметить, что всю предыдущую сцену между папенькой и маменькой две старшие дочери, Пашет и Анет, выслушивали весьма хладнокровно, как бы самый обыкновенный семейный разговор, и не принимали в нем никакого участия; они сидели, поджав руки: Анет поводила из стороны в сторону свои большие серые глаза, взглядывая по временам то на потолок, то на сложенные свои руки; Пашет свои глаза не поводила, а держала их постоянно устремленными на маменьку или на лежавший около нее белый хлеб – доподлинно я не знаю; одна только Машет волновалась родительскою размолвкой, или по крайней мере ей было это скучно.

Все, что ни говорила Катерина Архиповна своему супругу, все была самая горькая истина: он ничего не сделал и не приобрел для своего семейства, дурно присматривал за рабочими, потому что, вместо того чтобы заставлять их работать, он начинал им обыкновенно рассказывать, как он служил в полку, какие у него были тогда славные лошади и тому подобное. Генерала он только видел, но тот ему ни слова не говорил о месте; а приехал в Москву единственно потому, что, быв в одной холостой у казначея компании и выпив несколько рюмок водки, прихвастнул, что он на другой же день едет к своему семейству в Москву, не сообразя, что в числе посетителей был некто Климов, его сосед, имевший какую-то странную привычку ловить Антона Федотыча на словах, а потом уличать его, что он не совсем правду сказал. Услышав, что Ступицын возвестил о поездке в Москву, сосед не упустил случая и возгласил во всеуслышание: «Солгал, брат Антоша, не поедешь ты в Москву». – «Это уж представьте мне лучше знать», – возразил уклончиво Ступицын. – «Опять повторяю при всей честной компании: не поедешь ты в Москву», – проговорил еще громче Климов. – «А вот увидим», – отвечал опять уклончиво Ступицын. – «Нечего тут видеть, а вот что, – продолжал Климов, – ты сказал, что завтра поедешь; завтра, брат, я сам еду в Москву; едем вместе, и вот пари: поедешь – моя дюжина шампанского, не поедешь – твоя!» – «Идет», – отвечал Ступицын, и тут же два соседа ударились по рукам. На другой день Ступицын пораздумал и уже решился было потихоньку уехать в деревню; но Климов приехал к нему со всей честной компанией. Не ехать, значит, надобно было отдать пари. «Что будет, то будет, лучше поеду», – подумал Антон Федотыч. К этому решению его еще более подстрекали имевшиеся в кармане сто рублей, привезенные было для отправления к супруге.

Климов проиграл: Антон Федотыч, сильно подгуляв, поехал с ним в Москву.

Для большего уяснения характера этого человека, я должен сказать, что Ступицын вовсе не мог быть отнесен к тем неприличным лгунам, которые несут бог знает какую чушь, ни с чем несообразную. Напротив того, он говорил весьма быточные и обыкновенные вещи, но только они с ним не случались и не могли даже случаться. Судьба, или, лучше сказать, Катерина Архиповна, держала его, как говорится, в ежовых рукавицах; очень любя рассеяние, он жил постоянно в деревне и то без всяких комфорта, то есть: ему никогда не давали водки выпить, что он

очень любил, на том основании, что будто бы водка ему ужасно вредна; не всегда его снабжали табаком, до которого он был тоже страстный охотник; продовольствовались более на молочном столе, тогда как он молока терпеть не мог, и, наконец, заставляли щеголять почти в единственном фраке, сшитом по крайней мере лет шестнадцать тому назад. Всем этим лишениям Антон Федотыч покорялся терпеливо и не предпринимал ничего к выходу из подобного положения. Невинным и единственным его развлечением было то, что он, сидя в своей комнате, создавал различные приятные способы жизни, посреди которых он мог бы существовать: например, в одно холодное утро, на ухарской тройке, он едет в город; у него тысяча рублей в кармане; он садится играть в карты, проигрывает целую ночь. На другой день зовет к себе гостей; до приезда еще их выпивает крепкой очищенной водки. Друзья съезжаются, он угощает их превосходным обедом с шампанским и с мороженым; вечером заставлял играть своих музыкантов, которых у него тридцать человек. Пошалив таким образом, на другой день принимается за дело: ходит по постройкам, а вечером пишет письма в Петербург, чтобы ему выслали четыре ящика вина, – словом, живет на широкую ногу, русским барином. Все такого рода мечтания так укоренялись в голове Ступицына, что он сам начинал в них верить, как в действительность, и очень любил их высказывать себе подобным; но, увы! Эти себе подобные, если они хоть немного знали Антона Федотыча, не говоря уже о семейных, эти себе подобные обрезывали его на первом слове: «Полно, брат, врать, Антон Федотыч», «Замололи вы, Антон Федотыч». Более же деликатные, особенно из дам, отходили от него обыкновенно в самом начале разговора. Были и такие проказники, которые говорили: «Поври что-нибудь, Антон Федотыч». – «Сами извольте врать», – отвечал добросердый Ступицын.

Катерина Архиповна была прекрасная семьянинка, потому что, несмотря на все неуважение к мужу, которого она считала самым пустым и несносным человеком в мире, сохранила свою репутацию в обществе и, по возможности, старалась скрыть между посторонними людьми недостатки супруга; но когда он бывал болен, то даже сама неусыпно ухаживала за ним. Пиля его, как говорится, каждодневно, она всегда относилась к нему во втором лице множественного числа и прибавляла частичку «с». Кроме того, надобно отдать ей честь, она была самая расчетливая и неутомимая хозяйка и добрая мать: при весьма ограниченных средствах, она умела жить чистенько и одевала дочерей хотя не богато, но, право, весьма прилично. Двух старших она любила так себе, посредственно, но младшая была ее идол; для нее она готова была принести в жертву двух старших дочерей, мужа, все свое состояние и самое себя. Над всеми и над всем она была госпожой в доме и только в отношении Мари делалась рабою, и рабою беспрекословною. Постоянные хлопоты по хозяйству, о детях, вечная борьба с нуждою, каждодневные головомойки никуда не годному супругу – все это развило в Катерине Архиповне желчное расположение и значительно испортило ее характер; она брюзжала обыкновенно целые дни то на людей, то на дочерей, а главное – на мужа. Две старшие дочери, Пашет и Анет, очень любили новые платья, молодых мужчин и питали самое страстное желание выйти поскорее замуж; кроме того, они были очень завистливого характера. Анет, как и папенька, любила сказать красное словцо, Пашет же была очень молчалива и наследовала от папеньки только сильный аппетит. Обе эти девицы были влюблены по несколько раз, хотя и не совсем с успехом; маменьки они боялись, слушались ее и уважали; вследствие того и в отношении папеньки разделяли вполне ее мнение, то есть считали его совершенно за нуль и только иногда относились к нему с жалобами на младшую, Машет, которую обе они терпеть не могли, потому что она была идолом маменьки, потому что ей шили лучшие платья и у ней было уже до пятка женихов, тогда как им не досталось еще ни одного. Что касается до Мари, то она, по словам Катерины Архиповны, еще не сформировалась, была совершенный ребенок и несколько месяцев только перестала играть в куклы и начала читать романы.

Антон Федотыч, которого мы оставили на крыльце, все еще сидел там и не входил в комнату. Средство это он, особенно в холодное время года, употреблял издавна и всегда почти для

себя с успехом. Во-первых, уходя на крыльцо, он удалялся от супруги; во-вторых, освежался на воздухе от головомойки и, наконец, в-третьих, возбуждал к себе в Катерине Архиповне участие. Спустя четверть часа она обыкновенно говорила: «Что, сумасшедший-то там стоит? Простудится еще: эй, девочка, мальчик! Подите скажите барину, что он там стоит?» Барину сказывали, и он возвращался торжествующий и спокойный, потому что Катерина Архиповна после этого обыкновенно его уже не журила и даже иногда говорила, чтобы он выпил водки. В настоящее время Катерина Архиповна, видно, очень рассердилась; прошло уже более четверти часа, как Ступицын сидел на рундучке крыльца, а она не высылала; Антону Федотычу становилось очень холодно; единственный предмет его развлечения – луна – скрылась за облаками. Вдруг в темноте послышались шаги.

– Ах! – вскрикнул вслед за тем женский голос.

– Ух, черт возьми! – произнес с своей стороны Ступицын, схватившись за живот, в который ударилась чья-то нога.

– Кто это? – повторил тот же голос.

– А ты кто? – спросил Ступицын.

– Я пришла к знакомым моим, – сказал женский голос. – Вы здешний?

– Здешний. Кого вам надо?

– Катерину Архиповну.

– Жену мою?

– Вы супруг Катерины Архиповны?

– Точно так.

– Ах, боже мой, извините, я очень хорошая знакомая Катерины Архиповны. Честь имею рекомендоваться: Татьяна Ивановна Замшева.

– Позвольте и мне, с своей стороны, представиться: Антон Федотыч Ступицын. Что мы здесь стоим? Милости прошу!

Хозяин и гостя вошли в залу, в которой никого уже не было. Татьяна Ивановна и Антон Федотыч смотрели несколько времени друг на друга с некоторым удивлением. Обоих их поразили некоторые странности в наружности друг друга. Антону Федотычу кинулись в глаза необыкновенные рябины Татьяны Ивановны, а Татьяна Ивановна удивлялась клыкообразным зубам и серым, навывкате глазам Ступицына. Оба простояли несколько минут в молчании.

– Могу ли я видеть почтеннейшую Катерину Архиповну? – проговорила Татьяна Ивановна.

– Не знаю-с; она там у себя. Я сейчас спрошу, – отвечал Ступицын и вышел. К супруге, впрочем, он не пошел, но, постояв несколько времени в темном коридоре, вернулся.

– Она чем-то занята, милости прошу садиться, – проговорил он и, указав гостье место, сам сел на диван.

– По семейству, вероятно, соскучились и изволили приехать повидаться? – начала Татьяна Ивановна.

– Да, повидаться захотелось, – отвечал Антон Федотыч, – раньше нельзя было; у меня нынче летом были большие постройки: тысяч на шесть построил.

– На шесть тысяч?

– Почти на шесть. Два скотных двора на каменных столбах – тысячи в две каждый, да кухню новую построил в пятьсот рублей. Нельзя, знаете, усадьба требует поддержек.

– Без всякого сомнения; однако у вас и усадьба должна быть отличная.

– Изрядная. Хлебопашество, главное дело, в хорошем виде: рожь родится сам-десять, это, не хвастаясь, можно сказать, что я устроил. Прежде, бывало, как сам-пят придет, так бога благодарили.

– Скажите, что значит хозяйство.

– Хозяйство вещь важная, глубокомысленная в то же время, – сказал Ступицын.

– Нынче без ума нигде нельзя, – заметила Татьяна Ивановна.

Разговор на несколько минут остановился.

– Да это бы ничего, – начал опять Ступицын, – за хозяйством бы я не остановился, да баллотировка была, так, знаете, нельзя.

– Вы изволили баллотироваться?

– Нет, то есть меня очень просили в предводители, да не мог – отказался.

– Отчего же это не захотели послужить?

– Нельзя-с, семейные обстоятельства; впрочем, на одном обеде мне очень выговаривали... совестно, а делать нечего.

– Конечно, Антон Федотыч, в семействе иногда и не хочешь, а делаешь.

– Не иногда, а всегда. Вы имеете детей?

– Я девица.

– А батюшка жив?

– Помер. Я живу одна – сиротой... Каковы дороги?

– Кажется, хороши: шоссе отличное, а проселков я почти и не заметил. У меня очень покойный экипаж.

– Бричка, верно?

– Нет, коляска; совершенная люлька; прочности необыкновенной, и, вообразите, я ее купил у соседа за полторы тысячи и вот уже третий год езжу, ни один винт не повредился.

– Приятно в таких экипажах ездить, – заметила Татьяна Ивановна. – Вот мне здесь случилось с знакомыми ездить, так просто прелесть. Нынче, я думаю, таких экипажей прочных не делают.

– Есть и нынче, только дороги. Нынче, впрочем, все вздорожало. Вот хоть бы взять с поваров: я платил в английском клубе за выучку повара по триста рублей в год; за три года ведь это девятьсот рублей.

– Легко сказать: девятьсот рублей! Впрочем, я думаю, и повар вышел отличный?

– Бесподобный. Он у нас теперь в деревне; так вот беда: захочешь иногда этакий для знакомых сделать обедец, закажешь ему, придет: «Вся ваша воля, говорит, я не могу: запасов нет». Мы думаем его сюда привезти. Вот здесь он покажет себя; милости прошу тогда к нам отобедать.

– Покорнейше вас благодарю, я уж и так много обласкана вниманием Катерины Архиповны. А я заговорила и не спросила: здоровы ли Прасковья Антоновна, Анна Антоновна и Марья Антоновна?

– Слава богу. Я, признаться сказать, очень рад, что они сюда переехали, а то в деревне от женихов отбою нет.

– Ну, этим для родителей тяготиться нечего.

– Даша! – послышался голос Катерины Архиповны. – Где барин?

– В зале, с Татьяной Ивановной разговаривают, – отвечала горничная.

– Теперь, я думаю, можно к Катерине Архиповне? – спросила гостья.

– Можно, я думаю, – отвечал Антон Федотыч, остановленный голосом супруги.

Татьяна Ивановна ушла. Антон Федотыч сидел несколько минут в каком-то приятном довольстве от того, что успел себя показать новому лицу и еще даме. Посидев несколько времени, он вдруг встал, осмотрел всю комнату и вынул из-под жилета висевший на шее ключ, которым со всевозможною осторожностью отпер свой дорожный ларец, и, вынув оттуда графин с водкою, выпил торопливо из него почти половину и с теми же предосторожностями запер ларец и спрятал ключ, а потом, закулив трубку, как ни в чем не бывало, уселся на прежнем месте.

Подобного рода контрабанду Антон Федотыч употреблял в своей безотрадной жизни при всяком удобном случае, то есть когда у него случалось хоть сколько-нибудь денег. Для

этой, собственно, цели имел он особую шкатулку, которую тщательно запирали и никому не показывали, что в ней хранится.

Татьяна Ивановна, войдя к хозяйке, которая со всеми своими дочерьми сидела в спальне, тотчас же рассыпалась в разговорах: поздравила всех с приездом Антона Федотыча, засвидетельствовала почтение от Хозарова и затем начала рассказывать, как ее однажды, когда она шла от одной знакомой вечером, остановили двое мужчин и так напугали, что она после недели две была больна горячкою, а потом принялась в этом же роде за разные анекдоты; описала несчастье одной ее знакомой, на которую тоже вечером кинулись из одного купеческого дома две собаки и укусили ей ногу; рассказала об одном знакомом ей мужчине – молодце и смельчаке, которого ночью мошенники схватили на площади и раздели донага.

– Ах, какие вы ужасы рассказываете, – сказала Катерина Архиповна.

– Как же вы от нас пойдете? – заметила Мари.

– А как бог приведет; признаться сказать, очень потрушиваю, да уж повидаться очень хотелось, – отвечала Замшева.

– Вы извозчика возьмите, – сказала хозяйка.

– Ай, нет, Катерина Архиповна, ни за что в свете, – возразила гостья и здесь рассказала происшествие, случившееся с одною какой-то важною дамою, которая ехала домой на извозчике и которую не только обобрали, но даже завезли в такой дом, о котором она прежде и понятия не имела. После этого рассказа ужас овладел всеми дамами.

– Хорошо, что мы никогда на извозчиках не ездим, – сказала мать. – Когда мы выезжаем, – прибавила она, обращаясь к Татьяне Ивановне, – то знакомые обыкновенно на своих лошадях нас возят.

– Мамаша! Татьяну Ивановну, пожалуй, оберут, – сказала Мари, принимавшая больше всех участия в госте, – она бы у нас ночевала.

– В самом деле, ночуйте у нас, – проговорила хозяйка, – да только где?

– У меня в комнате, – отвечала Машет.

– Ах, боже мой, что вы беспокоитесь; мне, право, очень совестно, что доставляю столько хлопот, – отвечала жеманно Татьяна Ивановна. – Какой у вас ангельской доброты Марья Антоновна! – прибавила она вполголоса Катерине Архиповне.

– Очень добра, – отвечала мать, с удовольствием глядя на дочь. – Вы ночуете в ее комнате; у ней наверху особый кабинетик.

– Ночую, Катерина Архиповна, – отвечала Татьяна Ивановна, – я очень боюсь идти.

Перед ужином Антон Федотыч вошел, наконец, в комнату жены и уселся на отдаленное кресло. Впрочем, он ничего не говорил и только, облизываясь языком, весело на всех посматривал. Заветный ящик еще раз им был отперт.

– Что это глаза у вас какие странные? – заметила Катерина Архиповна.

– Ветром надуло, – отвечал Антон Федотыч.

За ужином Катерина Архиповна ничего не ела, потому что все еще была расстроена. Машет отучили ужинать в пансионе; Анет никогда не имела аппетита, а Татьяна Ивановна отказывалась из деликатности. Одна только Пашет с папенькой ратоборствовали: они съели весь почти суп, соус, жареное и покончили даже хлеб и огурцы. После ужина барышни и Татьяна Ивановна, простившись с хозяевами, отправились наверх. Антону Федотычу, впредь до дальнейших распоряжений, повелено было спать в зале на диване, с строжайшим запрещением сорить. Пашет и Анет, не простившись с сестрою, ушли к себе наверх в общую их спальню. Татьяне Ивановне было постлано в кабинете Мари на кушетке. Гостья за причиненные хлопоты еще раз извинилась перед Катериною Архиповною, которая не утерпела и пришла поцеловать и перекрестить своего идола.

– Ах, какие вы, Марья Антоновна, хорошенькие, – сказала Татьяна Ивановна, когда девушка разделась.

Та, улыбнувшись, прыгнула в постель и начала укутываться в теплое одеяло.

– Я к вам с поручением, – начала Татьяна Ивановна, подходя к кровати. – Я принесла вам от Сергея Петровича дневник, который вы просили, – прибавила она, подавая конверт.

Мари сначала с каким-то испугом взглянула на посредницу, а потом, вся вспыхнув, схватила пакет и спрятала его под подушки.

Татьяна Ивановна хотела было говорить, но Мари показала ей на соседнюю комнату и приложила в знак молчания пальчик к губам. Татьяна Ивановна поняла, что это значит: она кивнула головой, отошла от кровати и улеглась на своем ложе. Прошло более часа в совершенном молчании. Татьяне Ивановне показалось, что Мари заснула, ее самое начал сильно склонять сон. Вдруг видит, что девушка, потихоньку встав с постели, начала прислушиваться; Татьяна Ивановна захрапела. Мари, видно, этого и поджидавшая, потихоньку встала с постели, вынула из-под подушек дневник и на цыпочках подошла к лампаде. Дрожащими руками она распечатала пакет, поцеловала тетрадку и быстро начала читать. С каждой строчкою волнение ее увеличивалось; щеки ее то бледнели, то горели ярким румянцем. Она, кажется, готова была заплакать. Дочитав до конца, она схватила себя за голову и потом снова начала перечитывать. В середине тетрадки, а именно на том самом месте, как могла заметить Татьяна Ивановна, где были написаны знакомые нам стихи, она еще раз поцеловала листок. Прочитав другой раз, девушка опять на цыпочках подошла к своей кровати и улеглась в постель; но не прошло четверти часа, она снова встала и принялась будить Татьяну Ивановну, которая, будто спросонья, открыла глаза.

– Возьмите, – сказала шепотом Мари, подавая ей тетрадку.

– А что же? – спросила Татьяна Ивановна.

– Здесь сестрицы найдут.

– Да вы сами-то напишите ему что-нибудь.

– Не могу.

– Так что же мне ему сказать?

– Скажите, что merci.⁴

Проговоря это, девушка сунула дневник под подушку Татьяне Ивановне и тотчас же улеглась в постель.

«Какая миленькая и умненькая девушка», – проговорила сама с собою Татьяна Ивановна и совершенно осталась довольна своим успехом: она все видела и все очень хорошо поняла.

Возвратившись домой ранним утром, девица Замшева тотчас же разбудила своего милашку Сергея Петровича и пересказала ему все до малейшей подробности и даже с некоторыми прибавлениями.

⁴ благодарю (франц.).

III

Четвертого декабря, то есть в Варварин день, Хозаров вместе с Татьяною Ивановною был в больших хлопотах: ему предстоял утренний визит с поздравлением и танцевальный вечер в доме Мамиловых, знакомством которых он так дорожил. Туалетом своим он занялся с самого утра, в чем приняла по своей дружбе участие и Татьяна Ивановна. Первая забота Хозарова была направлена на завивку волос, коими уже распорядилась не Марфа, а подмастерье от парикмахера, который действительно и завил мастерски. Девушка Замшева, исполненная дружеских чувствований к Хозарову, несмотря на свойственную ей полустыдливость, входила во все подробности мужского туалета.

– Что хотите, Сергей Петрович, – говорила она, – а сорочка нехороша: полотно толсто и сине; декос гораздо был бы виднее.

– Какие вы, Татьяна Ивановна, говорите несообразности! – возразил Хозаров. – Кто же носит декос?

– Все носят: я жила в одном графском доме, там везде декос.

– Ошибаетесь, почтеннейшая, верно, батист: это другое дело.

– Слава богу, уж этого-то мне не знать, просто декос, – декос и на графе, – декос и на графине.

– Заблуждаетесь, почтеннейшая, и сильно заблуждаетесь. Голландское полотно лучше всего.

– Лучше бы вы, Сергей Петрович, не говорили мне про полотно, – возразила Татьяна Ивановна, – полотно – полотно и есть: никакого виду не имеет... В каком вы фраке поедете? – спросила она после нескольких минут молчания, в продолжение коих постоялец ее нафабриковал усы.

– Разумеется, в черном, – отвечал тот.

– Наденьте коричневый; вы в том наряднее, да у черного у вас что-то сзади оттопыривает.

– Нет, почтеннейшая, вы в мужском наряде, извините меня, просто ничего не понимаете, – сказал Хозаров. – Нынче люди порядочного тона цветное решительно перестают носить.

– Что и говорить! Вы, мужчины, очень много понимаете, – отвечала Татьяна Ивановна, – а ни один не умеет к лицу одеться. Хотите, дам булавку; у меня есть брильянтовая.

– Нет, не нужно; а лучше дайте мне денег хоть рублей десять; не шлют, да и только из деревни, – что прикажете делать! Нужно еще другие перчатки купить.

– Право, нет ни копейки.

– Ни-ни-ни, почтеннейшая, не извольте этого и говорить.

– Да мне-то где взять, проказник этакий? – говорила Татьяна Ивановна, опуская, впрочем, руку в карман.

– Очень просто: взять да вынуть из кармана, – отвечал постоялец.

– Ах, какой вы уморительный человек, – сказала она, пожав плечами, – какие вам послать? – прибавила она.

– К Лиону, почтеннейшая, к Лиону: в два целковых, – отвечал тот.

– Хорошо. Скоро будете одеваться?

– Сейчас.

– Ну, так прощайте.

– Adieu, почтеннейшая!

– Зайдете показаться одетые?

– Непременно.

– А туда зайдете?

– Нет.

– Прекрасно... очень хорошо! Ах, вы, мужчины, мужчины, ветреники этакие; не стойте, чтобы вас так любили. Сегодня же пойду и насплетничаю на вас.

– Ну нет, почтеннейшая, вы этого не делайте.

– То-то и есть, испугались! А в самом деле, что сказать? Я сегодня думаю сходить... Катерина Архиповна очень просила прийти помочь барышням собираться на вечер. Она сегодня будет в розовом газовом и, должно быть, будет просто чудо! К ней очень идет розовое.

– Вы скажите, почтеннейшая, что я целый день сегодня мечтаю о бале.

– Хорошо... Впрочем, вы, кажется, все лжете, Сергей Петрович.

– Вот чудесно!.. Не дай бог вам, Татьяна Ивановна, так лгать. Я просто без ума от этой девочки.

– Ну, уж меньше, чем она, позвольте сказать; она не говорит, а в сердце обожает. Прощайте.

– Adieu, почтеннейшая; да кстати, пошлите извозчика нанять.

– Какого?

– Пошлите к Ваньке Неронову; он у Тверских ворот стоит; рыжая этакая борода; или постойте: я к нему записочку напишу.

«Иван Семеныч! Сделай, брат, дружбу, пришли мне на день сани с полостью, и хорошо, если бы одолжил серого рысака, в противном же случае – непременно вороную кобылу, чем несказанно меня обяжешь. – Хозаров.

P.S. О деньгах, дружище, не беспокойся, на следующей неделе разотчусь совершенно».

Взяв эту записочку и еще раз попросив постояльца зайти и показаться одетым, Татьяна Ивановна ушла. Хозаров между тем принялся одеваться. Туалет продолжался около часа. Натянув перчатки и взяв шляпу, Хозаров начал разыгрывать какую-то мимическую сцену. Сначала он отошел к дверям и начал от них подходить к дивану, прижав обеими руками шляпу к груди и немного и постепенно наклоняя голову; потом сел на ближайший стул, и сел не то чтобы развалясь, и не в струнку, а свободно и прилично, как садятся порядочные люди, и начал затем мимический разговор с кем-то сидящим на диване: кинул несколько слов к боковому соседу, заговорил опять с сидящим на диване, сохраняя в продолжение всего этого времени самую приятную улыбку. Посидев немного, встал, поклонился сидящему на диване, кинул общий поклон прочим, должно быть, гостям, и начал выходить... Прекрасно, бесподобно! Это была репетиция грядущего визита, и она, как видит сам читатель, удалась моему герою как нельзя лучше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.